

АНДРЕЙ ТОМИЛОВ

ЭТО И ЕСТЬ  
НАША ЖИЗНЬ

16+

# Андрей Томилов

## Это и есть наша жизнь

*<https://litres.ru/50174018>*

*SelfPub; 2025*

### Аннотация

Рассказы Андрея Томилова захватывают своим реализмом. Описывается жизнь простых людей, что непременно ведёт к раскрытию трудных судеб, сложностей деревенской жизни. С особой остротой показана жизнь таёжного человека, показано, с каким надрывом и душевных и физических сил трудятся в тайге штатные охотники. Очень правдиво и глубоко раскрывается состояние верного друга человека, - собаки.

# Андрей Томилов

## Это и есть наша жизнь

### В любви и злобе

Сразу хотел рассказать, как мне больно. Как меня сильно избили, как рёбра болят, что не вздохнуть. Но, передумал. Подумаешь, избили. В жизни меня били много и много раз. Что ж теперь, всех бьют, одних больше, других меньше. Кто сколько заслужил.

Начну всё по порядку.

Вообще-то детство у меня было обычное, как у многих. Жили мы в небольшом пристанционном городишке, который и летом и зимой вонял жжёным углём. А за зиму заваливался мусором до второго этажа. Сначала, ещё по осени, мусорку таскали куда положено, к туалету. А потом, когда снега привалят, – кто куда докинет. Вот и растёт гора прямо перед окнами. Привыкли.

Второй этаж, – это самые высокие дома в нашем городе. И мы, как счастливики, жили в таком доме.

Комната наша была самой последней по коридору. И, что-

бы дойти до нас, нужно было преодолеть завалы из табуреток, тазиков, старых кроватей ещё возле пяти дверей. Коммуналка. Отчим называл нашу квартиру не коммуналкой, а коммунихой-психой.

Психой, – это по той причине, что почти в любое время, за какой-то дверь кто-то орал, или дрался, или просто долбил в стену, – в истерике.

Мне же, квартира наша нравилась. Сколько себя помню, все со мной здоровались, были приветливы, частенько подкармливали, то стряпнёй, то какими-то незамысловатыми сладостями.

Были какие-то неприятности, но они были всегда, и потому воспринимались как должное, как само собой разумеющееся. Как ТО, без чего и жизнь сама, не была бы столь весёлой и радостной. Неприятности эти были просто составляющей частью самой жизни.

Пожалуй, что, самой неприятной из всех составляющих, был отчим. Козёл.

Я и не помню, когда он у нас появился. Он всегда повторял и повторял, что он мне не отец. Говорил, что если бы он был моим отцом, – давно бы уже удавил. Помню, что он поначалу

шлёпал меня легонько. Ладощкой, – то по затылку, по шее, по заднице, а то и по щеке врежет. Всё это было терпимо, и особых возражений с моей стороны, не вызывало.

Тем более что мать всё видела, выхватывала меня и, обернув тёплыми, вкусными ладошками, прижимала к груди. Так прижимала, что дышать становилось трудно, а в серёдке становилось тепло и радостно. Пусть шлёпает.

Потом отчим взялся за ремешок. Ловко ловил меня за ухо, здоровенными, узловатыми пальцами, и порол мамкиным кожаным ремешком, от старого, бабушкиного демисезонного пальто.

Матушка сдерживала себя, кусая пальцы и губы. Но противиться, не смела. Сдерживала, ждала. Освобождённого меня снова обнимала, усаживала на колени. Горячо шептала что-то на ухо, но понять её шепот было совсем не просто, да и перегаром пахло очень не вкусно. Но, несмотря на это, я чувствовал любовь, исходящую от самого близкого мне человека, любовь, направленную на меня. За эту любовь, за эти ласки и жаркое дыхание матери я готов был терпеть издевательства. Готов был терпеть, ведь просто так, без порки, мать меня и не ласкала, не прижимала к себе, не жалела. Пусть бьёт.

Мамка говорила, что пальто демисезонное, а сама носила его чуть не круглый год. Да и не было у неё другого.

Когда он меня драл тем ремешком, то, пожалуй, что, больнее было ухо. Мне всегда казалось, что ухо вот – вот оторвётся. Да. А уж о спине и заднице, в то время не думалось. Ухо было жалко.

Я даже поинтересовался, как-то, у пацанов: если ухо оторвать, можно ли его обратно пришить. Прирастет? Или надо ждать, когда новое вырастет? Но никто толком ничего не знал. Не случалось никому отрывать ухо, – счастливики.

Но побои быстро заживали, трещинка, где ухо начинало отрываться, зарастала, и жизнь опять налаживалась. Тем более что все соседи любили меня, независимо от того, какие я отметки притащил сегодня из школы.

Теперь-то я понимаю, что отчима и это бесило. Не только из-за отметок, или из-за разбитой чашки он меня порол. Он бил меня, просто потому, что я был. И ещё, мне казалось, что ему это нравится. Пожалуй, это была главная причина, – ему нравилось меня бить. Да, нравилось.

Где-то он достал и приволок домой настоящий кожаный, четырёхгранный арапник. С толстого конца у арапника была

приделана короткая деревянная ручка. А тонкий конец раздваивался на тонкие полоски. Теперь за один удар на спине образовывались сразу две багровые линии. Объяснил мне, что этот ремень сделан из дорогой, бычьей кожи. Дал потрогать и даже подержать в руке. Думаю, он хотел, чтобы я гордился, что меня теперь порют такой классной и дорогой штукой. Где он его взял?

И, правда, было ужасно больно.

Когда отчим только снимал со стены арапник, у меня непроизвольно начинали обильно выделяться слёзы, сопли, слюни и моча. Всё это изливалось из меня в невероятных количествах и ещё больше злило отчима. По моей спине во все стороны шарахались здоровенные мурашки, а горло сдавливал такой спазм, что я не только кричать, я дышать не мог. Я синел от нехватки воздуха, но отчим получал от этого огромное удовольствие!

Матушка, если была в это время дома, наливала себе водки, или просто отворачивалась в окно и что-то пела. Что-то весёлое. И громкое.

Однажды, после очередной экзекуции, ко мне зашёл Фофель. Вообще-то его звать Серёгой, но имя это никто уж не помнит. Фофель, да Фофель.

Мы не были закадычными друзьями, просто в нашей квартире детей больше нет, и потому, будто бы, дружили.

Так вот, он зашёл, я стоял у окна и смазывал на кулак соп-ли. Я был один. Отчим, выпорол меня и ушёл по своим делам, а мамки уж второй день нет, – шалава. Это отчим её так называет. Я, хоть с ним и согласен в этом определении, не позволяю себе плохо отзываться о мамке. Я даже люблю её, наверное, люблю, – мамка. А как вкусно от неё пахло. Раньше. Я так остро помню этот запах родного человека, что иногда, когда дома никого нет, залезаю на диван, накрываюсь с головой мамкиным старым платьем и плачу. Не реву, как после порки, а тихонько плачу. Мне просто жалко себя, очень жалко. Но, это большая тайна.

Мать же не виновата, что отец, мой настоящий отец, нас бросил и умотал на север, за длинным рублём. С тех пор она и «катится», по её же словам. А вообще-то она хорошая, даже ласковая, когда сильно пьяная. Но ей трудно. С дороги, где она мантулила наравне с мужиками, её уволили. В дворниках тоже не держат. Дают работу, когда много снега навалит, или весной, – лёд долбить, но это всё от случая к случаю. Теперь она бутылки собирает. Да, где же ты их насобираешь, чтобы прожить? Дураков теперь мало, выбрасывать посуду, – все грамотные стали. Вот и бьёмся, боремся с трудностями.

ми. А их, трудностей-то, дюже много.

Так вот, Фофель. Вошёл, прислонился к дверному косяку и молчит, смотрит на свои ноги.

– Чё молчишь?

Он вздрогнул всем телом, от косяка отстранился и ещё ниже голову опустил. Я понимал, что он слышал, как отчим меня паздерал. Конечно, слышал, потому и пришёл.

– Молчит, бля. Иди, посмотри, чё там. Огнём горит.

Я задрал рубаху и повернулся к свету спиной.

Фофель жил со своей бабкой. Может она и не была такой, но мне казалась очень старой. Старой и страшной. Когда я заходил к ним в комнату, она всегда улыбалась, поворачивалась вполоборота, показывала клык, который торчал почти посередине рта. Я невольно делал шаг назад.

Однажды, взрослые пацаны, между собой про вурдалаков и упырей говорили. Я был недалеко, и подслушал. И как раз про такой клык.

Я сразу понял: есть клык, значит вампир. А у Фофелевой

бабки клык был знатный, можно не сомневаться.

Она будто специально его показывала, – улыбалась всё время. Про свою дочь, – мать Фофеля, говорила, что она стерва, каких свет не видывал. На станции всех мужиков перебрала, за колхозников взялась.

– И выпасла ведь, тварь. Дай Бог ей здоровья. Выпасла и захомутала! Вот баба! Ай, молодец!

Я тоже знал из разговоров на кухне, что эта стерва увела какого-то мужика из семьи. А потом ещё и дом отхпала. И теперь живёт, словно сыр в масле, а мужик тот все её прихоти чуть не бегом, чуть не бегом.

Правда, мы с Фофелем, в той деревне не бывали, и масла давно уж не видели, а сыру и того подавней. Ещё бабка проболталась, как-то, что отец Фофеля, завербовался на север, да и канул.

Получается, так же как и мой. Это нас сблизило.

Медленно приблизился, зашёл со стороны окна и глянул на мою, заголённую спину.

– Ни хрена себе! Да здесь...

– Чё там?

– Сильно. Полосы, и кое-где кровянка.

Я и сам чувствовал, что там кровянка, но хотелось посмотреть.

Зеркало, старое и годами засиженное мухами, висело на стене, рядом с этажеркой. Как оно там было прикреплено к той стене, я не знаю, но, при попытке его снять, оно легко хрустнуло и расколосось надвое. Нижняя половинка выскользнула из моих рук и плашмя брякнулась на голый пол. Осколки разлетелись по всей комнате. Многие блестяшки шмыгнули под диван, из которого уже давно торчали противные, острые пружины.

– Всё. Теперь он меня точно убьёт. Убьёт....

Фофель уже был возле двери и что-то мямлил, отворачивая глаза. Ему, видите ли, срочно нужно домой. Сучёныш.

Хотя, причём тут он. Злость на него лезла из меня только за то, что бить будут снова меня. Хоть бы один раз досталось ему, хоть бы разочек. Возможно, я бы даже пожалел его. Нет, это уж слишком!

Отчим, и, правда, только, что не убил, но охаживал с удовольствием, с нескрываемым наслаждением.

Мать, никогда не лезла, а тут не вынесла, – заступилась. За это сразу получила такого тумака, что кровь носом шла до самого вечера. Хлюпала.

Издавив всю работу, отчим аккуратно весил арапник на специально вбитый крюк. Ногой откатывал меня ближе к дверям, чтоб не вонял, так как к этому времени я успевал оправиться и по большому, и по маленькому. Садился к столу.

Ногти на его широченных пальцах были чёрные, с синеватым отливом. Он их никогда не стриг. Сами отламывались, или отгрызал зубами и плевался во все стороны. Так вот, закончив воспитательные мероприятия, садился к столу, брал остатки чёрствой булки хлеба и вдавливал свои ногти в эту булку, отламывал огромный кусок. Улыбался гадко, показывая железные зубы, ехидно улыбался.

– Хлеб, это тело... этого, как его. Вообще, нельзя резать, понял?!

Я, как мог, кивал головой, хотя понять ещё ничего не мог. Просто от страха кивал. Торопливо кивал головой, в которой

что-то гудело и слышался вой матери.

Отчим запихивал себе в пасть этот огромный кусок и начинал энергично перемалывать его широкими, лопатообразными зубами. Я неотрывно следил за ним, надеялся, что вот сейчас, вот, вот он поперхнётся, подавится этим куском и тут же брякнется на пол и издохнет. Подёргается малость, и издохнет. Я так хотел этого, так надеялся. Но он молотил и молотил кусок за куском, пока хлеб не кончался. Потом вставал, черпал ковшом воду из ведра и взахлёб пил. И снова не захлёбывался. Ни черта с ним не делалось. Ни черта! А так хотелось, уж так хотелось, чтобы он издох.

Первый раз мы с Фофелем решили бежать из дома, когда нам было по десять лет.

Отчим на четвереньках ползал по комнате, торкался головой в ножки стола. Что-то мычал, – совсем пьяный. Матушка, раскинувшись, похрапывала на диване.

Пока протрезвеют, пока хватятся. Надо бежать.

Мы даже не успели на поезд сесть. Было лето. Мы устроились в привокзальном парке, на широкой скамейке. Лежали, сидели. Мы мечтали. Не знаю как Фофель, но я даже не ощущал, что это мечты. Я воспринимал всё, о чём мы гово-

рили, как неизбежность, которая обязательно сбудется. Да, да, я не сомневался, что мы сможем добраться до севера и там обязательно найдём своих отцов. А как же иначе. Зачем же тогда бежать из дома, если не быть уверенным, что найдёшь своего отца.

У меня в рюкзаке лежала недоломаная булка хлеба и металлическая кружка. У Фофеля ничего не было, только ложка алюминиевая в кармане. Что он собирался хлебать?

А ещё у меня в кармане лежал сыромятный ремешок, который я по честному выиграл в чикку. Ремень был туго скручен и потому места много не занимал. Я с ним нигде не расставался. Как только случалось мне остаться дома одному, я сразу доставал этот ремень и начинал пороть отчима. Вернее не его, а стул, на котором он обычно сидит. Потом переходил к дивану и порол его. Порол до тех пор, пока пыль не переставала выходить. Или уставал совсем. Пружины диванные плакали под моим ремнём, а я от того ещё больше испытывал радость. Наслаждался. О-ох, наслаждался!

Так вот, этот ремешок был всегда со мной.

Станционный дежурный подкрался к нам неожиданно, и сразу схватил за шиворот и меня, и Фофеля. Поволок в участок. Там нас не били.

Но Фофель с самого начала ревел, и всё рассказывал, что мы едем на север, чтобы отыскать своих отцов. Поезд ждём, товарный. А ещё, оказывается, это я уговорил Фофеля ехать на север, искать отцов. Я злился!

Отчим, будто и не бил вовсе, лишь чуть покачивался, пришёл за нами. Сразу кинулся драться. Но милиционер не дал ему распускать руки, сказал:

– Забери домой, а там хоть на ленточки порви, – не моё дело.

Однако тот успел отвесить мне звонкий подзатыльник, – голова тяжело загудела. Язык стал мешаться во рту, будто увеличился раза в два.

Дома была порка. Между шлепками арапника до меня долетали визгливые слова матери, что север и отец, – это всё сказка. Нет этого ничего, и никогда не было! У меня в голове всё мутилось. Путалось. Ведь так не должно быть, чтобы не было отца. Кто же тогда будет заступаться за человека. Ведь так нужно, иногда, чтобы за тебя заступались. Так нужно! В тот раз меня сильно мутило и рвало. От этого отчим ещё сильнее зверел. Орал на мать:

– Ты посмотри! Ты только посмотри! Он опять обосрался!

Он же это специально, чтобы меня позлить!

И бил, бил, бил...

Врачиха потом, когда мамка меня забирала из больницы, сказала, что стяхнулся какой-то орган. Сказала, что пока надо полежать, усиленно питаться, принимать витамины. Мамка рассмеялась и потянула меня домой.

Где-то через неделю заявился Фофель. Дома я был один, он и припёрся.

– Ну, как ты? Больно?

Отводил глаза, даже сторонился как-то. Хотел ещё что-то сказать, но не находил слов, стоял, покачиваясь из стороны в сторону.

– Терпимо. Ты-то чего нюни развесил? Зачем про север рассказал?

Фофель потоптался по комнате, повздыхал. Присел на край дивана, потрогав при этом торчащую пружину, и вдруг выдал:

– Я тебе завидую!

– Чего-о?

– Да, вот, завидую и всё. Ты чувствуешь твёрдую отцовскую руку. Хоть он и не родной, а всё ж не даст скатиться по ... Вообще, скатиться.

– Это ты у бабки наслушался?

– А что, не правда? Вот, надо мной нет такой руки, могу и скатиться....

Меня эти его бредни так и взбесили. Я уже неделю на жопу сесть не могу, а ему завидно! Скатиться....

– Сейчас, организуем тебе твёрдую руку. Только, чур, – не жалуйся потом.

Я вытащил из кармана скрученный в кольцо ремешок, развернул его. Сложив вдвое, ловко захлестнул конец на запястье. Фофель, предчувствуя недоброе, с ногами подобрался на диван, выставил вперёд руки. Губы у него мелко задрожали.

Я порол его несколько не усерднее, чем стул. Но, стул деревянный. Его когда lupишь, он не орёт, не выворачивается.

Фофель же, орал так, что соседи с первого этажа повыска-

кивали на улицу и заглядывали в наши окна. Испуганно показывали на эти окна друг другу. Вертелся Фофель под моим ремнём, как тот таракан на сковородке, которого я однажды живьём зажарил. Вертелся и орал!

А дело тогда было так. Я заскочил на кухню, в надежде разжиться чем-нибудь вкусеньким. Но там никого не было. Глянув по столам, сразу заметил, что в нашей сковородке сидят несколько здоровых тараканов, и жрут наш маргарин, который остался на доньшке, после того, как мамка утром жарила картошку. Сволочи! Вообще-то я всегда подтираю, подлизываю сковородку кусочком хлеба, а в этот раз как-то упустил.

Я схватил сковородку и сунул её на плитку, включил. Они, стали быстро разбегаться во все стороны. Я лихорадочно пихал их обратно, но они, – хитрые гады, разбегались в разные стороны. Просто невозможно уследить за всеми сразу. И плитка так долго нагревается.

Наконец, остался лишь один таракан, который не успел смыться. Я его отпихивал на серёдку, он поскользнулся на маргарине, который уже расплавился, и снова бежал к краю.

В конце концов, он начал уже обжигать лапы, – подпрыгивал, потом перевернувшись, падал на спину, снова соска-

кивал и начинал пританцовывать. И вот, упал, и больше не поднялся. Я ещё его поджарил, и выключил плитку. Было весело.

Вот и Фофель, теперь, подпрыгивал, после каждого удара, переворачивался, корчился, снова падал, и орал. Орал! Штаны у него стали мокрыми, и диван тоже. Меня ещё больше это разозлило, и я порол и порол его без устали. Остановился лишь тогда, когда он совсем затих и перестал сопротивляться, а в дверь так тарабанили, что она могла и не выдержать натиска.

Уже потом, много позже, я понял, что мне нравилась эта экзекуция. Нравилось пороть, и видеть, как ему больно. Я чувствовал себя отчимом.

С тех пор у меня не стало друга Фофеля. Бабка никогда больше не показывала мне страшный клык, – не улыбалась. В милиции, куда она написала заявление, мне оформили первый привод, заставили подписать какую-то бумагу, и отпустили.

Через год я снова убежал искать отца.

Глухая, холодная осень с силой хлопала входной дверью подъезда, не жалея своих ветреных порывов. Даже просто во двор не хотелось выходить, но очередной скандал с родите-

лями принудил меня к действию. Уехал я довольно далеко, потому, что две ночи провёл в товарном вагоне. Замерзал страшно. А ещё, постоянно хотелось есть. На этом и погорел.

На какой-то станции, на перроне, подошёл к ларьку. Хотел выпросить что-нибудь, или стырить. А не додумался, что в угларке две ночи ехал, – только зубы, да глаза. За мой такой вид изловили меня и вернули домой. Снова в милиции составляли протокол. Снова отчим порол, пока не устал.

В столе, в ящике, лежали три ложки, две вилки с кривыми и даже отломанными зубами и нож. Нож был совсем старый, с выточенной серединой. От этого он казался горбатым и совсем не страшным. Как я не сжимал его в руке, как не махивался, ни страха, ни злости не появлялось. Пришлось отложить казнь отчима на более позднее время, пока не найдётся более подходящий нож. Не резать же его без злости. Подожду. Но казнь, обязательно. Это стало моей навязчивой идеей. Я развивал и лелеял эту мечту, наслаждался самой мыслью о том, что я зарезу отчима. Мне было приятно. Немного пугало то, что он стал часто болеть, что-то там у него внутри.

– Как бы ни загнулся раньше времени, уж пусть лучше порет, я потерплю.

Даже во сне мне виделось, как я расправляюсь со своим врагом. Только, почему-то резал я его в ногу. И он, хромя,

скрывался в густом лесу, отстреливаясь из автомата. Я знал, что он умрёт от потери крови, но сомнения меня охватывали:

– Если раненый, отстреливается и уходит в лес, значит он партизан? Значит, он наш?

Но проснувшись и вдохнув знакомый запах перегара, я сразу понимал, что отчим «не наш». И желание убить его не проходило, а наоборот возрастало. Становилось обидно, что он маскируется под наших.

В школу я почти не ходил. А если и ходил, то только для развлечения, – над училками поиздеваться. Злой был. По любому поводу кидался в драку. Злость, ненависть ко всем, так и вырастала из меня, окутывала и буйствовала. Мне нравилось, что почти все меня боятся. Это было видно по глазам. Боятся.

Мамка совсем запилась. Она ещё и ещё раз убеждала меня, что никакого отца не было, и искать некого. Пожалуй, что, я согласился. Согласился с тем, что отца, который мог бы за меня заступиться и отомстить, – нет. Нет, и никогда не было. Согласился.

Но, север, – он стал уже какой-то самоцелью для меня. Какой-то неведомой, далёкой и притягательной страной. Красивой, чистой, Розовой мечтой, которая, несомненно, осу-

щесвится, только дайте срок.

Казалось, что именно там, на севере, растут яблоки и даже арбузы. Матушка, давным-давно, приносила пластик арбуза. Он был такой большой и тяжёлый, но так быстро и внезапно кончился, что от обиды я заплакал, и долго не мог успокоиться. А мамка до слёз хохотала надо мной и гладила по голове.

О том, что мамка умерла, я узнал, когда поздно вечером возвращался домой.

В то время я уже поигрывал со старшими в карты, и именно сегодня продул мамкину брошку. Думал, что отчим убьёт, как узнает. С каким-то диким облегчением вздохнул, услышав, что мамки больше нет и ругать меня некому.

– У тебя мамку убили.

Загораживая мне дорогу к лестнице, сообщила соседка тётя Валя.

– Как это убили?

– Этот, сожитель ваш.

Я привалился к стене и не знал, что делать дальше. Может, надо зареветь и распустить соплю, – что-то не хотелось. Да и радость от того, что не будут драть за брошку, пересиливала. Соседка продолжала:

– Арестовали уже его, отчима-то. Допились.

Подъездная дверь снова хлопала от ветра, хлопала с каким-то придыханием, или стоном. А каждый новый хлопок казался злее предыдущего, громче и яростнее. Ступени лестницы, ведущей на наш этаж, были заляпаны грязью. Теперь эта грязь замёрзла шишками, закрепила как бетон и на каждой ступеньке создавала свои узоры, совсем не похожие на соседнюю.

Возле дивана была лужа крови, расплывшаяся по облупившемуся полу, но страха не появилось. Тётя Валя пришла с ведром воды и замыла кровь, как получилось. Ворчала:

– Останется пятнище-то, на самом виду. Ладно, может, закрасим.

Чего-то заглядывала во все углы, стены оглаживала рукой:

– Белить надо будет. Работы....

Потрогала просиженный диван:

– Завтра привезут, мамку-то. Боишься один-то ночевать? Ничего, свыкнешься.

– Тётъ Валь, а отчима точно не выпустят?

– Как же, убивец ведь. Кто его выпустит?

Притворила дверь.

Я ещё прошёлся по комнате. Остановился напротив арапника. Он спокойно висел на своём гвозде, словно ничего и не случилось. Оглянувшись по сторонам, забрался на стул и медленно снял его со стены. Тяжёлый гад! По спине, по заднице, и ниже, покатила нервная дрожь. На голове зашевелились волосы.

Торопливо бросил этого врага под порог. Чуть посидел на диване, не сводя глаз с арапника. Потом достал из-под дивана старую, вонючую портянку, замотал в неё врага, и утащил, бегом, на помойку. Закинул подальше.

Стало чуть спокойнее.

После похорон, я несколько дней валялся на диване, на-

слаждался свободой, обжирался остатками еды после поминок.

В школу решил больше не ходить, – с семьёю классами тоже жить можно. А если уехать на север, то там и работа найдётся.

Север! Только север!

В комнату ввалились две незнакомые, важные тётки. У каждой в руках по тетрадке и карандашу. Ещё в комнату втиснулись участковый, и тётя Валя. Она стала пальцем показывать на меня: вот он, вот! Голубчик!

Все стали расхаживать по комнате, смотреть на голые стены, пялиться на потолок. Тётки что-то записывали. Я лихорадочно вспоминал, что натворил. Ничего не вспоминалось. Только та брошка, но она всегда была в коробочке, в тряпочке. Не похоже, чтобы она была ворованная.

– Так. Значит, тринадцать лет?

Тётка, что потолще, выпучила на меня какие-то пустые, бесцветные глаза, и я шарахнулся к стенке:

– Мне уже скоро четырнадцать.

– Знаем мы. Завтра, к девяти, чтобы был у участкового. Возьми самое необходимое, – всё равно на выброс. Там вас по стандарту оденут. Метрики не забудь.

Я начал понимать что происходит. Испугался.

– В детдом, что ли?

– Ну, почему обязательно в детдом. Теперь эти заведения уже переименовывают. Будешь жить в приюте. Положено. И присмотрят за тобой и накормят.

Все ушли. Тётя Валя, в дверях повернулась, и сильно, сильно погрозила мне пальцем. Совсем стало плохо. Ноги сделались чужими, и я повалился на диван, с торчащими пружинами.

\*\*\*

Утро следующего дня я встретил далеко за городом. Перед тем, как уйти из родного дома, я хотел подпалить его, но керосина не было, а от скомканной газеты диван не загорелся. Ладно, пусть пока живут.

Я направлялся к железнодорожным тупикам, где в вагоны грузили толстые, длинные брёвна.

Привозили эти брёвна огромные машины-лесовозы, и мы с пацанами решили, что возят их именно с севера. Потому и определился я, что на север надо ехать не на поезде, а на лесовозе.

Почти весь день крутился возле машин, возле шоферов, – выбирал. Уже поздно вечером перехватил одного, молодого и весёлого, попросил подвезти до посёлка. Он сам помог мне, спросив:

– До Абалино, что ли?

– Да, мамка меня уж потеряла, наверное.

– Садись. Только мамке ещё поволноваться придётся часа два.

– Это ничего. Она знает.

Кабина огромная. Ни разу не ездил на такой машине. Вообще, на машине катался очень мало, да и, то, только в кузове.

Много приборов, рычагов, ручек, лампочек. Дыхание захватывает. А когда поехали, когда засвистел, зафырчал, натужно запел мотор, передавая свой трепет и дрожь прямо в меня, прямо в мою голову, – мне захотелось петь и плакать одновременно. Меня полностью захватило это движение, этот полёт. Восторг охватывал меня. Я был так счастлив, как не был ещё никогда.

В голове теснились мысли, что я на каком-то неведомом корабле, плыву в новые земли. Даже не плыву, а лечу, и полёт этот будет длиться бесконечно долго. А все смотрят на меня, задрав головы, приставив ко лбу ладошку, смотрят и удивляются. Удивляются. А мамка от радости не может сдержать слёз.

Шофёр, неведомо как, но сумел выведать у меня почти всю правду. И про север, и про отца, и про детдом.

– Ну, и дурак. Кто же на север бежит? Бежать надо на юг. На юге, там тепло, там яблоки растут. Там есть страна «Лукоморье». Слышал?

Я и, правда, что-то слышал про Лукоморье, только давно. Там ещё кот, возле толстого дуба, русалки, до пояса голые. Одна такая, была наколота синими чернилами на плече у отца. Красивая. Правда, смотреть немного стыдно.

– А отца искать можно и на юге. Результат будет такой же.

Что он понимает? На юге искать отца. Если бы его хоть один раз выпороть арапником, посмотрел бы я на него: «результат будет такой же». Умный больно.

Шофёр ещё много чего рассказывал про далёкую и тёплую страну Лукоморье, но я пригрелся и крепко задремал, трудно переваривая кусок солёного сала с хлебом, которым меня угостил новый знакомый, Лёха. Он разрешил себя так называть, сказав, что мы ягоды, вроде как, с одной грядки, – он вырос в детдоме. И мы с ним, теперь, почти родня.

Он кормил меня все три дня, пока мы ехали до леспромохоза. Он покупал мне пряники, сладкие, но очень крепкие, пахнущие мышами. Он накрывал меня своей телогрейкой, когда я засыпал. От телогрейки вкусно пахло соляркой и мужским потом.

В полудрёме мне казалось, что это отец так заботливо укутывает меня. Как хорошо, что я нашёл его. Теперь ничего не страшно.

Когда Лёха ушёл в какую-то контору, сказав, что сейчас поедem в общагу, я украл его бумажник и удрал, прихватив с собой телогрейку и пачку папирос. Бумажник он всегда бро-

сал в бардачок, после того, как ходил в магазин.

Сам виноват.

Сам же говорил: чтобы ехать в Лукоморье, нужны деньги. Там без денег никто на тебя и смотреть не станет.

Документы и бумажник я выбросил в придорожное болото. А деньги, правда, их там оказалось совсем мало, булки на две хлеба, завернул в тряпицу, вместе с остатками сала, и сунул в карман. Несколько ночей провёл в разрушенных строениях на краю посёлка. Видимо это была промышленная зона, так как вдалеке работали пилорамы, гудели машины, а по ночам всё освещалось электрическими фонарями.

Однажды удалось подобраться к сторожке, где отдыхали после смены рабочие и украсть две котомки с продуктами и сладким чаем. Наелся от пуза. Стало понятно, что жить можно и не работая. Просто нужно быть ловким и смелым.

Через много дней скитаний, я оказался в каком-то посёлке, на берегу широкой, но довольно спокойной реки. За рекой виднелся лес. Откуда-то с низовьев, из-за мыса, иногда доносились басовитые гудки. Я понял, что это пароходы.

В Лукоморье тоже есть пароходы. Красивые и с парусами. Заронил-таки Лёха в мою мечущуюся душу мечту под назва-

нием «Лукоморье».

Бродил по улицам, в поисках хоть какой-то еды. Посёлок рыбачий, и в некоторых дворах сушилась рыба. Прислонившись к забору, убедился, что никого поблизости нет. Перемахнул и стал торопливо срывать рыбёшек, совать их за ворот.

Двое пацанов, чуть постарше, налетели на меня, свалили с ног и стали бить, куда попало. Потом, отринув, начали пинать. Я прикрывал голову и громко ревел. Били меня уже не первый раз, и я знал, как надо себя вести.

Сначала катался, кричал, потом резко замолчал, раскинул руки и закрыл глаза. Пацаны сразу прекратили драться.

– Мы убили его?

– Может сам помер, с голоду.

– Надо его на улицу выкинуть, пусть там помирает.

Они схватили меня за ноги и выволокли через калитку. Один выдернул из моих штанов рубаху, и вытряхнул рыбёшек, собрал.

– Пошли отсюда, пока никто не заметил.

Калитка снова брякнула, я приоткрыл глаза. Никого не было. Вскочил и бросился в сторону реки.

На берегу было много лодок. Столкнув крайнюю, я заскочил в неё и стал лихорадочно отталкиваться от берега. Когда течение подхватило моё судёнышко, я успокоился, насколько это было возможно, и ощупал рёбра, голову. Всё-таки один из пацанов сумел пнуть меня по голове, – ухо распухло и противно звенело.

Но под рубахой обнаружилась небольшая, полусухая рыбка. Я съел её вместе с костями и головой. Стало чуть легче.

Снова вернулось чувство тревоги, а вскоре выяснилась и причина этой тревоги. Лодка, на которой я уже приближался к середине реки, оказалась наполовину затопленной. Схватив плавающую от борта к борту банку, я начал отчерпывать воду. Когда воды поубавилось, стало понятно, что работа бесполезна: из всех щелей поднимались быстрые, весёлые фонтанчики.

Палка, которой я отталкивался от берега, куда-то подевалась. Кроме банки и меня, ужасно испуганного, в лодке ничего и никого не было.

Плюхнувшись на колени, я завыл, заголосил, не переставая, при этом, шабаркать банкой, – отчерпывать воду. Одной рукой пытался куда-то грести.

Но лодка и не думала слушаться. Она плавно поворачивалась к берегу то одним боком, то другим. Покачивалась на срединном, более быстром, чем у берега, течении.

Сверху на меня пикировали с громкими криками белые, с чёрными головками, чайки. При этом они успевали ещё и между собой ругаться. Казалось, что они договариваются, кому, что от меня достанется, когда я утону, и меня выбросят на берег. Сволочи. Рогатку бы мою, я бы вам показал. Но рогатка осталась дома, за диваном. А дом был теперь так далеко. Так далеко.

Меня уже охватила паника. Я понимал, что самостоятельно выбраться из этой ситуации не смогу, а помощи ждать, похоже, неоткуда.

– Потонешь тут, к чёртовой матери, и Лукоморья не увидишь. Понаставили дырявых лодок. И на берегу, как специально, никого. Вымерли, что ли?

Выл я всё громче и громче.

За мысом, куда меня вынесло, открылся вид на большой причал, возле которого стояло несколько кораблей. Моё утлое судёнышко несло прямо на них. Я перестал выть, размахивал руками и просил о помощи. Меня поднесло совсем близко к одному из кораблей, где на палубе стояли два дядьки, курили и усмехались, показывая на меня. Я уже давно не вычерпывал воду, так как понял, что затея эта бесполезная, вода прибывает быстрее, чем я её вычерпываю. Лодка, наконец, легонько нырнула носом, а потом и вовсе ушла под воду. Издав прощальный вопль, я, как мог, оттолкнулся от затонувшей лодки и стал молотить по воде руками. Телогрейка надулась пузырьём и удерживала меня на поверхности.

С палубы бросили красный круг, привязанный за верёвку. Я ухватился за него так крепко, как можно держаться только за саму жизнь.

Горячий, сладкий чай, мягкие булочки с повидлом, сухое, чистое бельё большого размера, – всё это давало ощущение того, что я попал в рай. Или в какое-то счастье. Кругом была идеальная чистота, а мне все улыбались, словно радовались, что наконец-то я к ним приплыл.

Однажды, давно, давно, я уже был в таком счастье. Правда, помнилось плохо, но внутреннее ощущение осталось.

Был какой-то праздник. Была старая бабушка. Была мамка, очень красивая и совсем не похожая. Но я знаю, что это именно мамка. Бабушка, не помню, кто она такая, принесла из кухни большой красивый каравай. Сверху, на ягодах лежали четыре зажаристые палочки, из теста. Мамка сказала, что это мои года. И подарила мне целый кулёк конфет. Половина из тех конфет была в фантиках. А ещё она подарила мне большую, красивую юлу. Когда её раскрутили на полу, она пела. Пела таким не земным голосом, какого я больше не слышал никогда. А в комнате так вкусно пахло: пирогом, конфетами. Особенно, новой, блестящей юлой.

Весь тот день было счастье.

Потом куда-то делась бабушка. И, как-то незаметно, появился отчим. Никогда уже счастья не было, не повторялся тот день. И юла сломалась, больше не пела.

Вся команда, состоящая из девяти крепких, здоровых дядек, и тучной, такой же крепкой, улыбчивой, поварихи, тётки Груни, все хотели что-то сделать для меня приятное. Кто-то протягивал конфету, кто-то дарил тельняшку, а кто просто похлопывал по спине:

– Ничего, ничего, – оклемаешься. Тётка Груня не даст захворать. Будешь у нас юнгой.

Я и, правда, даже не чихнул ни разу. Хоть вода была холодной, мне показалось, просто ледяной. Не то, что на Лукоморье. Там всегда тепло, – солдаты постоянно купаются, в блестящих шлемах. И командир, кажется, он им дядькой приходится, тоже купается, прямо в одеждах. Хорошо.

Меня, после всех моих рассказов о злключениях, поселили в комнату с двумя дядьками. Комната эта, на корабле, называется каютой. Почти все комнаты на корабле называются не так, как положено. И меня заставляли учить эти названия. Я учил: каюта, кубрик, камбуз, кают-компания.

Река, чуть ниже порта, широко разливалась и берегов, почти не было. Виднелись лишь тоненькие ниточки, по которым не определить, – берег это, или просто отмель вылезла, из-за отлива. Вода, временами становилась мутной, даже грязной. По поверхности несло разный хлам. Все тогда говорили, что вверху прошли дожди. Что можно выскочить за губу.

Работа заключалась в том, что постоянно что-то грузили, разгружали, перевозили, подтягивали, швартовались, отчаливали. Мне больше нравилось ходить за губу, где стояла бригада рыбаков. Почему ходить, а не плавать, и почему за губу, – никто толком объяснить не мог, просто поправляли,

если я говорил неправильно.

Загрузив бочки и ящики с рыбой, мы возвращались только на следующий день. Тётя Груня устраивала рыбный день, и я объедался вкуснятиной. Да и в другие дни, меня постоянно подкармливали чем-то вкусным. Почти всегда для меня были конфеты. Вся команда относилась ко мне очень дружелюбно. Я тоже всех полюбил. Даже очень.

Ночи становились совсем холодными, а днём, иногда, налетал пронизывающий, порывистый ветер. Близилась осень.

Должен, хоть и коротко, упомянуть здесь, о своей первой любви.

Девочка Оля, моего возраста, часто прибегала на берег, чтобы встретиться со своим отцом, нашим боцманом. Она была такая.... Такая нежная, такая светлая, чувственная, что не влюбиться в неё было просто невозможно.

Она уходила домой, держа своего отца за руку, и часто оглядывалась. Мне казалось, что это она оглядывается на меня. Я даже краснел, а ладошки становились потными и липкими, вытирал их о штаны, прятал в карманы.

Эта односторонняя любовь, если можно назвать любовью тот трепет, что я испытывал при появлении Оли, длилась очень долго.... Очень. Почти целый месяц. Целый осенний месяц.

Я весь извёлся. Представлял, как она держит за руку не отца, а меня... Дышать становилось очень трудно, а сердце готово было выскочить через рот. Оно торопливо стучало в самом горле.

Боялся смотреть в её сторону. А её короткий, но радостный смех, при встрече с отцом, вызывал и у меня какие-то нервные всхлипывания. Видимо я так смеялся в ответ.

Мы так и не познакомились. Нас просто не представили друг другу. Просто играли в гляделки. Просто смотрели друг другу то в глаза, то в спину.

Когда она пришла, однажды, в сопровождении длинноногого, худощавого паренька, не отступающего от неё ни на шаг, я словно сошёл с ума. Я налетел на него диким зверем, свалил на деревянный настил и бил, бил, бил... Пока взрослые что-то поняли, пока кинулись к нам, пока оттащили меня, всё лицо паренька было уже в крови. А я, удерживаемый старшими товарищами, ещё бил и бил окровавленными кулаками по остывшему, вечернему воздуху.

Долго, потом, все допытывались у меня, за что я накинулся на Олиного брата, но ответить мне было нечего и я просто молчал.

Так, коротко ошпарив мою душу, словно окатив кипятком, пролетела, промелькнула моя первая любовь. В памяти осталась лишь горечь и боль.

\*\*\*

Кто-то крикнул, что привезли получку. Все заспешили на причал, образовав весёлую толкучку. Всем было весело, настроение радостное. Только мне сразу стало не по себе.

Ещё с далёкого детства я знал, что получка, – это очень плохо. В этот день, да и на следующий, мамка, с подругами и мужиками, напивалась до беспамятства. Сначала все пели и шутили, даже пробовали плясать, но потом начинали громко ругаться, и заканчивалось всё драками, кровью, битой посудой и сломанными стульями.

Я в такие дни убегал на кухню и прятался под чей-нибудь стол. Было страшно и плохо.

Подумалось, что и здесь, в день получки начнётся всё то, что обычно бывает в таком случае. Ушёл в свою каюту и залез под одеяло.

На палубе галдели, смеялись. Думал, что уже началось. Но никто не пил. Меня нашли и вытащили ко всем.

– Вот, твоя получка!

Капитан шлёпнул в мою ладошку увесистую пачку денег. Я смотрел на всех и не знал, что надо говорить. Тётя Груня чмокнула меня в щёку тёплыми, мягкими губами, поздрави-

ла с первой получкой. Все тянули шершавые руки, – радовались за меня. Хотелось разреветься, но я сдержался.

Это все скинулись, и устроили мне первую получку.

Потом ещё скидывались на общак, – для разных общих дел. С меня не взяли, хоть я и предлагал.

Общак так и остался лежать на столе в кают-компании. Пачка была не ровная, деньги топорщились уголками в разные стороны.

Все занялись своими делами, кто-то ушёл в посёлок, кто за шашками, кто чесал языком, кто просто отдыхал.

Я тыкался ко всем, просил, чтобы убрали деньги:

– Это, убрать бы, украдут...

– Не переживай, капитан уберёт.

Но я не доверял и сидел рядом, следил. Как заморожённый, пялился на пачку денег, а в голове уже жужжали, роились поганые мысли. Вспоминался Лёхин голос, под натужный рокот мотора:

– В Лукоморье нужны деньги, без них с тобой там и разговаривать никто не будет.

Вот бы мне такую пачку. Сразу бы махнул в Лукоморье. Где-то в душе, понимал, что там не будет лучше, чем здесь. Не будет. А мысли роились, наплывали помимо воли. Торопили и заставляли что-то делать.... Делать.

– Тётя Грунь, убраться бы деньги-то.

– Да, кому они нужны, – уберутся.

Снова сидел, неотрывно глядя на пачку бумаги, которая имеет такую великую силу, которая из человека, из человека, может сделать ....

Ночевал я где-то на краю посёлка, в заброшенных штабелях леса. Кутался в телогрейку, спал плохо. Хоть одежда на мне была первейшая, – тётя Груня всё ушила и подогнала под мой рост, и свитер, почти новый, мужики подарили, а крутился всю ночь, – мёрз. Отвык спать под небушком, всё в каюте, да под тёплым одеялом.

Ничего, потерплю, в Лукоморье отогреюсь. Теперь-то я точно знаю, что мечта эта моя сбудется. Сбудется, только дайте срок.

Поймали меня, почти сразу, как я выбрался из своего укрытия. Милиционер притащил на пирс, бросил перед сходнями. На палубе стояла вся команда. Никто не смеялся, не улыбался даже. У них были каменные лица, будто они кого-то хоронили.

Я выл и катался. Выл и катался.

– Дяденьки, родненькие, простите Христа ради! Не по злобе я, не по злобе! Мне в Лукоморье надо, ой как надо! Там тепло.... Там яблоки растут, прямо на деревьях.... Там дуб большой и зелёный.... Простите, родненькие! Простите....

Милиционер протянул капитану деньги. Тот спустился, взял. Я приблизился к трапу, ухватился за него рукой. Капитан тихо отстранил мою руку:

– Не погань. И страна та, красивая, которую ты Лукоморьем кличешь, не для тебя, парень. Не для тебя.

Я совсем потерялся. Даже выть перестал.

Милиционер поднял меня, повёл в отделение.

Я вспомнил. Я всё вспомнил! Это же мамка читала мне

про Лукоморье. Она читала и прижимала меня к себе, гладила по голове. Да, гладила. Тогда она ещё любила меня. Любила!

А голос у неё был бархатный и очень нежный:

– Там чудеса, там леший бродит....

\*\*\*

Дальнейшая судьба моя не выстроилась в прямую, ровную и красивую линию. Не получилось. Да и кривой-то линию моей жизни назвать, пожалуй, трудно. Скорее, какие-то пунктиры, с неравномерными пробелами, да и сами те пунктиры горбаты, с задирами и пробоинами.

Грязной получилась жизнь. Грязной и трудной. Да, и жизнь ли это.

Конечно, если рассуждать философски, – мы сами строим её, сами выбираем именно ту линию, которая нам нравится, которой мы хотели бы следовать. Однако не всегда сбывается то, что хотелось бы, чего ждёшь.

И, ещё. Так много в наше время грязи, так много гадости

не только в головах и душах, но и прямо на виду, на людях, что, некоторые и не удивятся вовсе, узнав, что я творил. Но, для меня, даже для меня, это за краем. Я искренне жалею того, кого не тронет мой рассказ. Кто, походя, скажет: и не такое случается в наше время. Если так, то время совсем худое....

Но обвинять время, в которое мы живём, – совсем пустое занятие. Ведь жизнь любого из нас складывается не из каких-то временных отрезков. Жизнь складывается из событий, которые происходили в то или другое время. Именно из событий. И события те мы сами творим, сами выстраиваем. Сами делаем, строим ту цепочку, которую потом и называем своей жизнью.

Я не собираюсь вести терпеливого читателя по всем извилинам, по всем перипетиям своего жизненного пути. Расскажу лишь отдельные вехи, отдельные пункты, которые по той или иной причине запали мне в память. Да, именно в память, так как в душу эти события отложиться не могли, – нет её у меня, – души. Нет, и никогда не было. Думаю, не было. Расскажу о том, что удивляло меня больше, что заставляло меня самого вздрагивать порой, и отстраняться от зеркала.

В колонии я появился измызганный, избитый, совершенно потерянный. Злость кипела во мне даже тогда, когда я

спал. Всё было плохо. Всё. Настолько плохо, что зубы крошились.

Лишь удивительная моя терпеливость позволила мне выжить, ужиться с той средой обитания, куда занесло меня совсем не случайно. Нет, не случайно, – я нутром своим готов был к такому бытию, шёл к нему, даже не сознавая того.

Жалеть себя перестал давно. Ещё тогда перестал, когда мамка жива была. Когда отчим порол до потери сознания. Когда понял, осознал, что жизнь моя гроша ломаного не стоит. Ничего не стоит. А теперь и вовсе, – какая жалость.

Кто только появлялся поближе, кто осмеливался переступить черту, определённую моим сознанием, немедленно бывал наказан. Сперва словом грубым, поганым. Если не понимал, получал тумачков крепких, бесплатных, – беспричинных. А когда и этого мало оказывалось, когда не отступался кто, не внимал науке кулака, пинка, мата крепкого, – в ход шли зубы.

Да, зубы. Мне самому становилось страшно. Страшно до смеха. Страшно за того, кто осмеливался мне противостоять.

В драке я грыз и давился тем отгрызенным, рвал, всё подряд, и когтями и клыками, не разбираясь. Одежду, – в кло-

чья. Жилы, – в ремки, в струи крови. Плоть, – особенно приятно вгрызаться в плоть, в мякоть, – выхватывал её целыми кусками.

Меня старались обходить. Подальше обходить.

Протащился год. Нудный, тягучий, вонючий. Год, который я и не заметил. А может, не хотел замечать. Я жил, будто с закрытыми глазами, будто в коконе каком-то, крепко накрепко спелёнатым. Шёл туда, куда вели, делал то, что велели, ел то, что давали. Почти забыл свой голос, не имел ни друзей, ни знакомых.

Многих, кто жил рядом, такое моё поведение раздражало.

В соседней «хате», – это за перегородкой, жили блатные. Именно они приняли решение опустить меня.

Всё случилось, ночью, когда многие уже спали. Шестёрки заломали меня, сдёрнули кальсоны. Перец сидел на моей шконке, поигрывал браслетом и лыбился во всю рожу. Ему и нужно-то было, только моё унижение. Он и без этого был гораздо выше, так выше, что и не дотянешься, а вот, хотелось ещё на ступенечку.

И на работу он не ходил. Ни он, ни его шестёрки. Мы, все

остальные, за них работали. Вот она, натура человеческая. Сволочная натура. Ох, сволочная.

Уже на другой день мне продырявили чашку, и в ложке пробили дыру.

Я хотел умереть. Хотел умереть, и не мог. Не умира-лось....

Прошла неделя, месяц. Меня никто не трогал. Я так же молчал, жил одиночкой. Будто бы всё успокоилось. Только не у меня. Не знаю где, в каком органе, может в печёнке, может в селезёнке, только не прошла, не успокоилась моя злость. Притаилась.

В рабочей зоне я заточил здоровенный гвоздь, на двести, и запихал его себе.... Одним словом спрятал. Когда мы возвращались в жилую зону, нас по серьёзу досматривали. Даже половинку лезвия безопасной бритвы, где-то под языком, не пронесёшь. Могли заставить снять штаны. Прощупывали все швы на одежде, карманы, залезали пальцами в рот.

Ночью я достал гвоздь. Подождал, когда все уснут. Ещё подождал. Ещё. Будто тень, будто по воздуху, не касаясь скрипучих половиц, скользнул за перегородку.

Стянул с Перца одеяло, освобождая грудь.

Это я потом узнал, потом уж мне рассказали, что, перед тем, как убивать, надо разбудить. Тогда крику не будет. А тогда я ещё ничего такого не знал. Думал, ткну, и всё, он сразу и умрёт. Где там.

Гвоздь не полез, как я рассчитывал. Упёрся в грудину, или в ребро. Не мог проткнуть. А Перец проснулся и страшно, громко заорал. Я даже испугался, но отступить уже было поздно. Навалившись всем телом, всё же пробил грудину и вогнал туда гвоздь по самую шляпку, предварительно обмотанную тряпицей. Вогнал, и ладонью придержал.

Перец ещё покричал и откинул голову.

Все проснулись и с ужасом смотрели на меня. Смотрели, как я придерживал шляпку гвоздя, из под которой разлеталась в разные стороны тёмная, совсем не похожая на кровь, жидкость. Бежать было поздно, да и не куда. Я медленно дошёл до своего места, и сел на нары, весь в крови.

Дальше ничего интересного: суд, этап, другая колония. Перец сумел выжить. Это сыграло решающую роль в том, что срок мне добавили не очень большой. Заканчивать этот срок пришлось уже на взросляке.

Убедился, что молва ходит впереди людей. И здесь, на взрослой зоне, близко ко мне ни кто не подходил. Не пытался найти дружбу.

Но именно там, во взрослой колонии, я познакомился с дядей Ваней, – мастером боевых искусств. Два года, день за днём, он учил меня, тренировал, натаскивал, как собаку.

Я был хорошим учеником. Я научился убивать. Мне было страшно самого себя.

Сказать, что меня уважали, – пожалуй, ничего не сказать. Мне настойчиво предлагали дружбу серьёзные, маститые уркаганы. Я молчал. Ни с кем не хотел водить дружбу. Был волком одиночкой.

Пришла свобода.

Свобода, – она не была для меня праздником. Это событие скорее заботило меня. Заботило, с точки зрения быта, – где жить, что есть, чем заниматься? Вообще, – зачем она мне?

Пару дней и ночей пролежал на скамейке в парке како-

го-то небольшого городка.

Моросил дождь. Даже и не дождь, просто в воздухе висела пелена влаги. Сырость. Промозглая сырость....

Снова вспомнилась навязчивая идея детства, – море.

Поеду к морю. Там тепло, там яблоки прямо на деревьях...

Город N-ск, по словам знатоков, был воротами на Кавказ. Почему я там оказался, пожалуй, и не припомню, не смогу объяснить. Но именно этот, шумный, размазанный кривыми улицами, базарный город, стал моей пристанью надолго. На- всегда.

Не лукоморье, а именно этот, старый, не очень чистый городок.

Где-то за железкой, далеко от центра, встретились двухэтажные бараки. Точно такие, как наши, – из детства. Даже какая-то тень грусти прокатилась. Странно. Уж по детству-то я не хотел бы грустить. Нет, не хотел бы. Даже во сне, нечаянно окунаясь в детство, сразу просыпался. Нет, нет, только не детство!

В первый же день, оказавшись на базаре, я заметил охоту. Сразу засёк, как щипач выпасал тётку, трущуюся возле богатых шмоток. Рядом деловито пыхтел ширмач, который будет прикрывать щипача во время работы. На другой стороне базарного потока вытягивал шею третий участник охоты. Именно ему будет скинут лопатник, в случае удачи.

Я пристроился рядом с этим третьим, и топтался, делая вид, что рассматриваю товар. Сам же зорко следил за всеми персонажами разыгрывающейся пьесы.

Не прошло и минуты, как сквозь толпу молнией мелькнул брошенный кошелёк, по-нашему, – лопатник. Мой подопечный уже растопырил грабли, чтобы поймать его и смыться, но я его опередил. Кошелёк совершенно незаметно спрятался у меня под рубахой, а рукой я обхватил опешившего паренька за шею и быстро выволок его из толпы.

Где-то возле товаров выла, голосила баба, обнаружившая пропажу.

– На кого работаем?

– Да, пошёл ты.

Я машинально ударил парня по колену и у него там что-

то хрустнуло. Он охнул и повис у меня на руках.

Волоком вытащил его за угол, привёл в себя.

– Так на кого?

Парень со стоном выдавил:

– Сами. Нет хозяина. Товар сдаём одному барыге, а деньги себе.

– С этого дня моя половина. И только попробуйте...

– Побойся Бога!

Но в то время я ещё не думал о Боге. Не боялся Его.

И я стал получать с этой бригады деньги. Потом ещё одних раскрутил, барыгу того нашёл. Тоже обложил данью. Ему это не понравилось, и он нанял двоих мордovorотов, чтобы они поставили меня на место.

Разговор был где-то на тихой окраине города, на каком-то берегу. Это были первые, с кем я обошёлся так жёстко, так серьёзно, если не считать колонию и историю с Перцем. Мне было интересно другое, – их не было жалко, даже ни сколько.

Я спустил их в воду, и течение всё сделало, всё скрыло. Это оказалось так просто, так легко. Даже удивительно.

Барыга стал платить. Даже больше, чем я заявил.

С появлением денег, приоделся, снял приличную хату. Постепенно проходил страх перед неизвестностью, перед свободой.

Но жить праздно, получая дармовые деньги, – как-то не по мне. Хотелось самому, хотелось чего-то остренького. Узнав, где обитают бездомные малолетки, наведалься туда и прибрал одного дохляка. Звали его Васькой.

Мы с ним стали обносить богатенькие хаты. Или по наводке, или сами присматривали. Я спускал Ваську на верёвке к окну, он забирался внутрь и открывал мне дверь.

Дело наладилось. Тем более что барахло сбывалось без задержки.

Однажды, при сдаче очередной партии, ко мне подошли серьёзные дяди и объяснили, что надо откладывать на обшак. Я, конечно, возмутился, но дяди были сильнее.

Я продал Ваську барыге, – он давно положил на него глаз. Васька катался в ногах, выл и умолял отпустить его. Я сме-

ялся, пряча пачку денег, полученную за живой товар.

Воровать бросил. Не потому, что мне было жалко делиться с кем-то, нет, просто захотелось чего-то другого, чего-то экзотического.

Уехал на море. Посмотреть, что там за Лукоморье. Думал, что просто посмотрю, но задержался там почти на три года. Занимался исключительно ничегонеделанием. Или, другими словами, пинал болду.

Однако что-то тянуло меня назад, тянуло в N-ск, словно я чувствовал, что именно там и ждут меня самые яркие, радостные и самые грустные, самые чёрные события моей жизни. Что-либо вычёркивать, убирать из своей судьбы, мы вряд ли можем. Остаётся только ждать те или другие события и готовить себя встретить их достойно, насколько это возможно.

Вернувшись в город, ставший мне уже близким, хоть и не родным, я как-то воспрянул духом. Ходил по улицам и улыбался. Без причины улыбался. А, видимо, недаром сказано: «...Да не узнают враги твои о радостях твоих». Все испытания человеку даются по силам. Эти слова ещё мать говорила мне, обмывая меня и успокаивая после арапника. По силам. Это значит, что ты получаешь испытания именно твои. Именно твои, и ни кто не может облегчить тебе их, не может разделить с тобой боль, будь то боль физическая, или душевная. Не станет тебе легче в момент смерти, если рядом

умирает друг. Не станет.

Именно здесь, в N-ске со мной случились некие события, пропустить которые в своих повествованиях я не могу.

По старой привычке я любил бродить по торговым рядам рынка, с любопытством рассматривая лица торгашей, покупателей и праздно шатающихся граждан, вроде меня. Бывал там почти каждый день. И вот однажды...

Я только вышел с базара, который галдел и колобродил, как..., как базар. Был белый день, кругом полно народу. Мужики, уперевшись в задний борт уазика, пытались его удержать, но он медленно катился на них, под горку. Один сидел в кабине и тщетно пытался запустить двигатель.

– Помоги, дорогой! Помоги, брат!

С явным кавказским акцентом обратился один из них ко мне. Я торопливо подскочил и подставил плечо под борт машины. В тот же момент я получил удар по затылку. Перед глазами всё поплыло, захотелось опростать желудок.

Меня легко закинули в кузов, профессионально быстро и ловко связали руки и ноги. Машина сразу завелась и поехала, подпрыгивая на неровностях дороги.

Я окончательно пришёл в себя. В кузове сидели на низких лавках ещё четверо связанных парней, примерно моего возраста. В углу, на другой стороне две девчонки, тоже связанные. Рядом с ними, – горец с автоматом. И малец, – пацан, жмётся к мужчине, наверное, сын.

Девчонки очень похожи, видимо сёстры. Одна старше другой лет на пять. Руки у них связаны спереди, не так как у нас.

Я, как мог, приподнялся на локте, стал рассматривать двор, где стояла наша машина. Тут же получил прикладом по голове. Горец выругался, достал откуда-то губную гармонику и стал тихонько пиликать.

Подтянув колени, я перевалился, трудно втиснулся между связанными парнями.

Совершенно не разбираясь в музыке, ещё и в музыке губной гармоники, вскоре стал улавливать незнакомые, но грустные, протяжные мелодии гор. Мужчина покачивался в такт мелодии, закрывал глаза, тянул и тянул заунывный напев. Ребёнок, сидевший рядом, всем телом тянулся к отцу, принимал не только его музыку, его настроение, он душу его видел, любовался ей, трогал нежно. Раздувал ноздри, втяги-

вая запах родного человека, не просто родного, а самого дорогого. И грубому невежде было видно и понятно, как он страстно любит отца, как он ласкает его своими глазами.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.